

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА



ПОЭТ

ПОВЕСТЬ

Несчастный всё-таки он был человек — Алексей Венедиктович Машкин. Зачем он явился в Москву?.. На то было несколько причин. Во-первых, наступил миг, пробил великий час, и заметалась большая страна. На юг из Петрограда и Москвы потянулись голодные и недовольные, вчера ещё призывавшие революцию, а ныне чуравшиеся и ненавидевшие её. Присоединился к недовольным и Алексей Машкин, но — увы! Даже боги не могут сделать бывшее небывшим. И те, кто понял эту немудрёную истину, разделились на двое. Одни приняли неотвратимое новое, другие пустились в дальнейшие странствия, всё ещё надеясь на нечто призрачное и очевидно несбыточное. Алексей Машкин, или, как называли его друзья, Лёсик, оказался в числе первых. А это значило, что нужно было возвращаться куда-то и где-то осесть. И когда Лёсик задумался, куда и где, он в первую очередь подумал о Москве. И, не размышляя больше, отправился туда. Ехал он, влекомый каким-то древним, необъяснимым зовом, внушающим всякому, в обстоятельствах жизни непроходимо увязшему и пропавшему русскому человеку, что спасение его именно в Москве.

Во-вторых, Лёсик Машкин был поэт. Его уже знали в Петрограде, в Киве и Харькове. У него была уже своя, пусть и совсем небольшая, книга стихов, на обложке которой значилось: “Алексей Машкин. Град Петров”. И да-

---

*ЗАМЛЕЛОВА Светлана Георгиевна родилась в Алма-Ате. Окончила РГГУ (Москва). Прозаик, публицист, критик, переводчик, драматург. Автор книг: “Блудные дети” (роман), “Исход” (роман), “Эдуард Стрельцов: воля к жизни”, “Александр Алёхин: партия с судьбой” и др. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Кандидат философских наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), защитила кандидатскую диссертацию на тему “Современные теологические и философские трактовки образа Иуды Искариота”. Живёт в Сергиевом Посаде.*

же одна знаменитая петроградская поэтесса покровительствовала ему, называя “другом” и “братом”. Но как-то постепенно он признал, что стихи почему-то перестали писаться. Он то немел вовсе, то снова обретал голос и слух, но написанное почти не приносило облегчения и радости. Как-то ещё в детскосельском кафе, где собиралась богема, один поэт с прилизанными, разделёнными чётким пробором чёрными волосами сказал, послушав новые стихи Лёсика:

— А ведь ты, брат, поэт одной строки...

В те времена стихи вроде бы ещё удавались, и Лёсик не понял, что это значит, но страшно обиделся. Он заглянул в смеющиеся, с опущенными уголками глаза обидчика, перевёл взгляд на африканские его губы, брезгливо сжимавшие папироску, и воспылал такой ненавистью, что, не в силах сдерживаться, выхватил эту папироску, бросил с размаху об пол и раздавил каблуком.

— Дуэль! — кричал Лёсик. — Я намерен драться с вами на дуэли, милостивый государь!

Обидчик было опешил, но в ту же минуту расхохотался и призвал Лёсика перестать чудить.

— Что, угадал я? — спрашивал он и снова смеялся. — Угадал?.. Оттого ты и злишься, что и сам в глубине души это знаешь.

И это было правдой, сознаваться в которой не хотелось. Да, с некоторых пор что-то будто сломалось — Лёсик перестал слышать стихи, как прежде. Музыка стиха по-прежнему звучала, но слова приходили не те, и всё, что получалось, было то непонятно, то бессмысленно, а то и вовсе вымученно. Рифмы и ритмы оставались там, где им положено оставаться, но это были стихи немного поэта. Чувства захлёстывали Лёсика, восторг переполнял, и страшные образы теснились перед мысленным взором, как тени предков в Элизиуме. Первая строка являлась сама, подсказанная мирозданием. А дальше он сам нанизывал слова, словно искристые камни на шёлковую нить. Но слова зачастую оказывались случайными, не связанными между собой ничем, кроме рифмы. Оттого и самому ему казалось, что стихи не выпевались. Стихи перестали быть песней его души, они превратились в мычание. А разве может поэт, чья душа, перестав петь, замычала, оставаться на месте? И вот тогда ещё Лёсик решил, что ему надо в Москву, надеясь, что древняя столица тронет его остывающее сердце.

К тому же ходили слухи, что в Москве образовался какой-то союз поэтов и что будто бы всем, в этом союзе состоящим, полагались дешёвые обеды. А в отдельных случаях — даже и безвозмездные. Словом, для истосковавшегося и наголодавшегося Лёсика Москва казалась спасением. И вот однажды ранней весной он въехал в Москву на санях со стороны Тропарёва. Москва в подтаявшем снегу, проглядывавшая сквозь дымку испарений, показалась Лёсику какой-то прокишей. И, съезжая с Воробьёвых гор, он упал в эти влажные объятия, да так и не вырвался больше из них. Москва открылась вся сразу, необъятная и пёстрая. Тускло сквозь дымку посверкивали сорок сороков, а грай чёрных птиц казался недобрым её смехом. Но по мере спуска с Воробьёвых гор к реке видение таяло. Теперь Лёсик видел дома, фонари, мостовые, покрытые мокрым снегом, слышал крики извозчиков и мальчишек, торгующих рассыпной “Ирой”.

Но мало приехать в Москву. В Москве надо где-то жить. Впрочем, в любом городе любой писатель, если, конечно, он не бирюк и не отшельник и поддерживает с собратьями по перу хоть какие-нибудь отношения, прекрасно осведомлён, что в Москве бездомных литераторов отправляют в общежитие на Тверском бульваре. Там, в жёлтых флигелях, сидят себе советские писатели по комнатам, пописывают стихи и рассказы и лопают олады из муки с содой. Вот и Лёсик ехал в Москву, зная, что нужно обратиться к заведующему Дома имени Герцена, чтобы получить ключ от комнаты в жёлтом флигеле при том же Доме и право на паёк. И то, и другое Лёсик получил без особенных затруднений, отчего взыграл духом и начал подумывать, что жизнь не так уж и безнадежна. Ощущение это усугубилось при виде изразцовых печей и дубовых панелей в стенах флигеля. Изразцы, правда,

сосуществовали с гудящими примусами и наглыми кастрюльками — неизменными обитательницами любой кухни. Но на кастрюльки и примусы Лёсик согласился смотреть как на неизбежное зло. Так бы и сидел он в комнате с окном во двор, где прогуливался когда-то маленький Герцен, так бы и писал свои стихи, довольствуясь оладьями с содой или горсткой пайкового риса. Но комната не нравилась Любочке.

Ах, в самом деле! Ведь Лёсик явился в Москву не один, а с женой — с Любовью Леонидовной Машкиной. Забегая вперёд, скажем, что Москва и Любочка стали роковым выбором поэта Машкина. И та, и другая оказались злощими и памятьливыми. Но если Москву ещё можно было смягчить хотя бы собственной кротостью, то с Любочкой дело обстояло сложнее. Впрочем, обо всём по порядку.

\* \* \*

Любочка называла себя художницей, что выражалось в написании огромных букв на кумачовых плакатах, вывешиваемых в те годы попере́к улиц и звавших обывателя строить новый мир. Буквы Любочка писала в Харькове, где и нашёл её Лёсик. В отношении Любочки природа оказалась невероятно скупой. Природа расхохоталась, когда ангелы умоляли о красоте для новорождённой. В результате Любочка оказалась маленькой и тщедушной, с огромным ртом и огромным носом. Подрастая, она отлично понимала, какую злую шутку сыграла с ней природа. И чем старше она становилась, чем больше видела людей, тем злее делалась, уверенная, что все эти рослые, красивые, одарённые люди — её, Любочкины, должники. Потому что это у неё, у Любочки, природа забрала то, чем наградила других. Все они хороши и талантливы за её, за Любочкин счёт.

Конечно, Лёсик не мог не видеть, что Любочка далеко не красавица. Но дело было в том, что и Лёсик не блистал красотой. Такой же маленький и тщедушный, с большим кадыком, обделённый здоровьем и силой, он существовал только потому, что в мире существовала поэзия. Давным-давно, ещё в Царском Селе, он в окружении тогдашних столпов русской поэзии, не уверенный в себе и в то же время заносчивый, приносил свои стихи на обсуждение старших товарищей. И общими усилиями стихи его шлифовались и выправлялись. Тогда все любили его и относились к нему, как к младшему брату в большой семье. Он и был самым маленьким и самым щуплым. И на фоне барственных собратьев своих смотрелся дитём. Непутёвым, не приспособленным к жизни, наивным и безыскусным дитём. “Тебе нужна женщина, которая полюбила бы тебя и взяла под опеку”, — уверяли его друзья. Его сравнивали с бодлеровским альбатросом, что прекрасен только в полёте. И как-то раз в царскосельском кафе, собиравшем петербургских тогда ещё поэтов, одна зеленоглазая поэтесса прочитала с посвящением “А. В. М.” свой перевод Бодлера:

*От плаванья устав, порой забавы ради  
Поймают моряки огромных белых птиц,  
Что рядом с кораблём летят вдоль водной глади, —  
Бесстрастных спутников, не знающих границы.*

*Как жалок альбатрос, лишь палубы коснётся!  
Когда огромных два крыла влачит спроста.  
И кажется, к нему уж больше не вернётся  
Былая мощь, былая красота.*

*Прекрасный пилигрим, король морской лазури,  
Он вдруг становится уродлив и смешон.  
В клюв сунут трубку, точно табакуре,  
Глумясь, изобразят, как ковыляет он.*

*Так и с тобой, поэт! Гремит твой голос вещей,  
Ты с бурями знаком, тебе неведом страх.  
Но изгнанный с небес, ты чернью обещен,  
И крыл твоих удел — лишь путаться в ногах.*

Он зарделся, он готов был исчезнуть, провалиться сквозь землю или, напротив, улететь, потому что знал: аплодисменты адресовались не только Бодлеру и зеленоглазой поэтессе, переведшей Бодлера на русский язык, но и ему — Алексею Машкину.

А потом вдруг всё изменилось. В Харькове — и какая нелёгкая понесла его в Харьков? — он, не помня себя, женился. А женившись, вскоре метнулся в Москву. Уже в Москве один из петербургских орлов, случайно залетевших в столицу по пути в Европу, с удивлением глянул на Любочку и пробормотал, адресуясь к Лёсику, что-то вроде: “Ну что же... Твоё дело, конечно... Впрочем, виноват... тоже женщина...”

Но зато это именно Любочка первая заявила, что Лёсик — гений. Не младший брат петербургско-петроградских гигантов, не воспитанный орлами воробей, а птица редкая и самобытная. Что ж, пусть даже будет альбатрос. Но ни к чему альбатросу возвращаться к орлам. У него своя стихия и свой полёт. В Москву! И там начать всё сначала, стать целым числом, а не дробью. Запеть наконец-то своим голосом, а не в хоре благодетелей.

Маленькая Любочка, едва доходившая Лёсику до плеча, смотрела на него снизу вверх желтоватыми, чуть навывкате глазами и называла Иосифом Прекрасным. Она говорила, что Петроград только подавляет его и не даёт стать самим собой. И где ещё, как не в столице, расправить альбатросу крылья. Лёсик, которого никто прежде не называл Иосифом Прекрасным, мало-помалу уверовал, что петербургско-петроградские орлы никогда сами не выпустят его из общего гнезда. А среди них он обречён навечно оставаться младшим братом, последышем и поскрёбышем, затмеваемым вальяжно-красивыми, от рождения уверенными в себе братьями. Приходилось признать, но именно с Любочкой они были сделаны из одного теста, и никакая другая женщина не нашла бы его рост статью, а воробьиные плечи — косой саженью. В чём они расходились, так это в том, что Любочка, в отличие от Лёсика, уже умела ненавидеть. И ненавидела рьяно, со страстью почти всех, с кем доводилось ей сталкиваться. Добродушного и непутёвого Лёсика она тоже учила ненавидеть — соседей, коллег, торговцев на Сухаревке по приезде в Москву, и даже самое литературу. Тех, кто осмеливался хвалить стихи не Лёсика, а чьи-то ещё, она называла “маразматиками” и уверяла, что только люди “с внутренним изъясном” могут хвалить это.

Злая и некрасивая Любочка, не обладавшая никакими талантами, а лучше сказать, не сумевшая отыскать в себе талантов и найти им применение, вовремя сообразила, чем именно она сможет выделиться из серой человеческой массы и начать уважать себя. Сама эпоха подсказала ей путь. Революция сменялась революцией. Война — войной. Старые связи обрывались, а новые не успевали завязываться. Идеи боролись за умы, а группы — за власть. Люди ожесточались, налаженное когда-то хозяйство рассыпалось. Затянувшееся противостояние разрушало доверие, а в образовавшемся хаосе, как это всегда бывает, выскочили и стали заметны не лучшие представители рода человеческого. Всё запуталось настолько, что не осталось человека, в чьих силах было бы ласково всё распутать. А поскольку распутывать всё-таки приходилось, то узлы и колтуны зачастую обрывались. Мир ожесточился, и по-другому не могло быть.

Но Любочка не утруждала себя вопросами. Любочка не думала о том, что человек всегда и везде одинаков и что нет ничего нового ни под солнцем, ни под луной. Любочке было безразлично, что все события имеют первопричину, искать которую следует не здесь и сейчас, а исключительно в прошлом. Зато каким-то звериным чутьём Любочка уловила: чтобы выделиться в этом новом, ожесточившемся и пока ещё не успокоившемся мире, нужно пестовать в себе неприятие этого мира. Пестовать не на показ, а для себя, чтобы, глядя вокруг, неизменно сознавать своё превосходство. Отныне, когда Лю-

бочка слышала о труде как о владыке мира, она шипела про “идиотство”. В ответ на призывы к пролетариям всех стран объединиться, она заверяла, что люди к такому звать не могут.

Поселившись с Лёсиком в жёлтом флигеле, она немедленно возненавидела всех его обитателей. Комната, куда их с Лёсиком определили, ей не нравилась. Олады с содой тоже не нравились, главным образом потому, что и мука, и сода выдавались Лёсику пайком второй категории. И комната им досталась с одним окном, тогда как соседняя — угловая — казалась и больше, и светлее.

— У него два окна, — шипела Любочка в сторону соседа, — и паёк первой категории, он колбасу жрёт. А ты чем хуже? Почему у тебя второй?

Лёсик только разводил руками, но Любочка так страстно ненавидела и соседа с двумя комнатами, и распределителей пайков, что и Лёсик начал проникаться этой ненавистью. И, встречая худощего, но неизменно румяного и весёлого эссеиста, наслаждавшегося двумя окнами, думал, что тот, должно быть, служит в ЧК. Потому что иначе невозможно объяснить ни колбасу в пайке, ни два окна.

Лёсику же полагалась: мука, сода, рис, хлопковое масло, спички, папирсы “Ира” и вдобавок ко всему — страшная коровья голова, о которой Лёсик, впервые получивший её, поинтересовался у женщины, распорядившейся провизией:

— И что мне с ней делать?

Женщина бросила на Лёсика взгляд, в котором читалось: “Ну и сволочь ты!” — после чего дёрнула плечом и сказала:

— Что хотите, то и делайте. Хотите — варите, а хотите — так ешьте. Можете на кол надеть и перед входом поставить.

— Перед входом куда? — уточнил зачем-то Лёсик.

— Куда хотите, гражданин, — строго ответила женщина и снова бросила на Лёсика страшный взгляд, очевидно, сожалея, что взглядом нельзя проткнуть или хотя бы хлестнуть.

“Перед входом в твой будуар я бы поставил”, — хотел было огрызнуться Лёсик, но вовремя спохватился, сообразив, что разговор этот не имеет никакого смысла. После чего завернул страшную голову в газеты и понёс домой.

Дома он предупредил Любочку, чтобы та не пугалась. Но предупреждения не помогли: едва завидев появившуюся из газетных слоёв голову, Любочка завизжала и отпрыгнула в сторону. О самостоятельной варке головы нечего было и думать. Впрочем, как счёл Лёсик, они всё же сумели распорядиться мясной частью пайка весьма разумно. Обёрнутую “Правдой” голову торжественно передали дворничихе Степановне, обязавшейся готовить возможные по случаю обеды и приглашать на них Машкиных. Конечно, обеды в дворничихой ничем не напоминали обеды в “Доминике” или хотя бы в том самом детскосельском кафе. Но есть было можно, и голод отныне не грозил им своим костлявым пальцем.

Когда же на пороге общежития появился романист Задворкин, колбаса и коровья голова отошли на второй план. Немедленно выяснилось, что Задворкин вселяется в двадцатый номер. А двадцатый номер известен был тем, что состоял из двух смежных комнат — тринадцати и шести метров. Это было возмутительно.

— Он один в двух комнатах, а ты с женой — в одной... — с деланным недоумением, неизвестно к кому обращаясь, говорила Любочка, стоя перед единственным окном и водя пальчиком по пыльному стеклу.

Но счастье Задворкина было недолгим. И уже примерно через неделю к нему в смежную комнату подселили поэта Ценкевича, которого Любочка неизменно величала Витенькой, вкладывая в это что-то среднее между презрением и жалостью. По поводу вселения Витеньки Ценкевича в шестиметровую комнату говорили, что в поисках жилья он дошёл до сестры Ленина. Комнат во флигелях не оставалось, а жить Витеньке, явившемуся в Москву из Киева, было решительно негде. И он печаль свою понёс в Кремль. Мария Ильинична вникла в муки Витеньки и убедила московских писателей помочь

собрату по перу. Так и было принято решение подселить поэта Ценкевича в шестиметровую смежную двадцатого номера, где благоденствовал Задворкин. — Нехорошо, если у одного писателя две комнаты, а у другого — ни одной, — будто бы заметила по этому поводу Мария Ильинична.

Любочка, до которой дошли слухи из Кремля, прошипела только:

— Она бы эту уравниловку с себя начала...

С тех пор Любочка ненавидела и Задворкина, и Ценкевича, и Марию Ильиничну.

Сама Любочка мечтала, чтобы Лёсика предоставили квартирку или, на худой конец, комнатку в коммунальной квартире — не в общежитии. И чтобы Лёсик не чувствовал себя обязанным за эту квартирку. А ещё — чтобы Лёсика почаще печатали в газетах и журналах. Чтобы платили гонорары и не смели критиковать. Чтобы выпускали книги поэта Машкина, но никакая цензура не смела бы касаться его творений своим острым коготком. А ещё — о туфлях-лодочках и шёлковых чулках. Чулки у Любочки водились, но отчего-то рвались они так часто, что, заливаясь злыми слезами, Любочка только и успевала поднимать на них петли. Лишь через несколько лет по приезду в Москву скопились какие-то деньги от гонораров Лёсика за статьи и переводы в газетах и журналах, на что в бывшем “Мюр и Мериллизе” были куплены и несколько пар новых чулок, и чёрные замшевые лодочки. Любочка надела их тут же, в магазине. И в новых туфлях вышла на Петровку. Взяв Лёсика под руку, она потянула его к Охотному ряду. Они медленно пошли по тротуару вдоль Малого театра, и Любочка бросала на проходящих мимо женщин злобные, недоверчивые взгляды, словно подозревая, что каждая из них намеревается украсть её замшевые лодочки.

\* \* \*

Чёрные замшевые лодочки обыкновенно покупаются не для того, чтобы не ходить босиком. Такие лодочки нужно выгуливать. Именно по этой причине, выйдя от бывшего “Мюра”, супруги Машкина оказались вскоре на Никольской улице, продвигаясь понемногу к Красной площади. Но, не дойдя до сердца столицы, они вдруг остановились возле арки тёмной и длинной подворотни. Остановились потому, что перед аркой образовалось странное и на первый взгляд необъяснимое скопление народа, а из подворотни доносились невнятные причитания и старушечий плач. Лёсик заглянул в арку и по ту сторону перехода, во дворе, увидел людей в военной форме, какие-то ящики на земле и причитавших старух. Старухи вообще сновали туда-сюда, то исчезая в подворотне и выныривая во дворе, то снова появляясь на Никольской, при этом тихонько причитали и подвывали. Тут же на Никольской прямо перед аркой стоял священник — невысокий, средних лет человек. Лёсик заметил, что по малиновым щекам его стекали редкие слёзы. Он не утирал их и, казалось, весь был сосредоточен на том, что происходило во дворе.

— Что это здесь? — тихо, ни к кому не обращаясь, спросил Лёсик, когда старухи в очередной раз заахали и запричитали, напомним стайку испуганных птиц. Священник вдруг закрыл руками лицо, отошёл в сторону и отвернулся, точно не в силах видеть происходящее.

— Матушку! Матушку ободрали! — послышался вдруг старушечий голос со двора. И ближайшая к Лёсика старуха в нелепой бурой кофте взвизгнула. Эта старуха, как и все остальные, ни на секунду не оставалась в покое, поворачиваясь, перемещаясь с места на место, всплёскивая руками, а то и просто перетаптываясь.

— Какую “матушку”? — тихо спросил Лёсик у Любочки, всё это время державшей его под руку.

— Вероятно, богородичная икона, — ответила Любочка и кивнула в подворотню.

И Лёсик вспомнил, что бывал однажды в этом дворе и видел церковь — маленькую белую церковь нарышкинского барокко. И даже вспомнил икону,

чей оклад был покрыт мелкими, как пшено, жемчужинами. А вспомнив, подумал, что это, должно быть, и есть “Матушка”.

— Какая мерзость! — перебила его воспоминания Любочка. — И зачем?..

— В пользу голодающих собирают, — хмуро ответил мужичок в бесформенном пиджачке и таком же выдавшем виды картузе. Всё это время мужичок стоял перед Лёсиком с Любочкой. И у Лёсика, то и дело бросавшего взгляды на его потёртую спину, мелькала какая-то смутная мысль о неустойчивости гегемона. И вот теперь гегемон заговорил с ним, сурово и прямо. Но Любочка, громко фыркнув, снова перебила его мысли.

— А такое слово — “святотатство” — вам ни о чём не говорит? — ядовито поинтересовалась она у мужичка.

— Святотатство, дамочка, это когда на этой вон колокольне, — мужичок махнул куда-то в сторону Красной площади, — в октябре семнадцатого пулемёт стоял. И брата моего юнкер с этой самой колокольни пулемётом скошил. Это, так мыслю, было святотатство. А металл — дело наживное. Ежели Бог есть, он всё верно рассудит. А ежели нет...

Но Лёсик не стал дослушивать богословские рассуждения никольского мужичка и уже тянул Любочку мимо Казанского собора.

— Прошу тебя, — говорил он горячо, но тихо, так, чтобы слышала одна Любочка, — не вступай в дискуссии с народом. И вообще не разговаривай с незнакомыми людьми, которые, страшно представить, кем могут оказаться.

Любочка слушала его молча и, казалось, со всем соглашалась. Но едва он замолчал, она снова заговорила о святотатстве и о том, что на ободранные со всех русских церквей сокровища можно накормить голодающих всего мира. Лёсик даже попробовал возражать, что им ничего не известно ни о количестве ободранных сокровищ, ни о числе голодающих в мире, ни о биржевых ценах на хлеб. Но Любочка была неумолима и долго ещё разглагольствовала об “идиотизме рационализма”.

Странное творилось с Любочкой. Не будучи прежде религиозной, она любила пускаться в разглагольствования о грехах и свободе, уверяя, что вокруг одни искушения, а святых нет. Новую жизнь Любочка тоже называла греховой и подлой, уверяя, что коллективный грех проистекает от коллективного своеволия. Лёсик даже подивился, как далеко она зашла в своих помыслах, и заметил, что один грех может быть попущен Богом за другой — сильнейший. Но Любочка только фыркнула, назвала слова Лёсика ерундой и затараторила о преступной эпохе, об уродливом обществе, о потерявших свободу индивидах. Она призывала бороться за свободу, но сама при этом тушила папиросы в хлеб и не убирала постель, куда могла запрыгнуть прямо в уличных башмаках, не замечая, что пачкает простыни. Когда Лёсик смотрел на пенел в хлебном мякише, слова о свободе где-то в глубине души казались ему ложью. Но чувство превосходства над всеми, внушаемое Любочкой, уже отравило его. И Лёсик, не сомневаясь, считал себя великим непризнанным поэтом, вынужденным коротать дни среди приспособленцев и бездарей. Он уже не мог воспринимать окружающий мир как прежде: всё вокруг казалось ему глупым и уродливым. И только они вдвоём с Любочкой — свободными и хранящими благородство, хоть и бедствующими. Откуда-то, чего раньше с ним не было, взылись обида на всех и чувство обделённости, словно были ему должны и недодали чего-то, обделили. И хорошо бы, с одной стороны, вытребовать положенное, но с другой — как сладостно было бы хлопнуть дверью или плюнуть кому-нибудь в лицо.

Лёсик и сам замечал происходящие с ним перемены и даже как-то подумал, что перемены эти от Любочки, что это она заразила его ненавистью. Но он гнал эту мысль как неприятную и даже унижительную для себя. Он говорил себе, что эпоха действительно преступная и что порядочный человек в такие дни просто не может оставаться спокойным и благодушествовать. Он уже не удивлялся, что Любочка, гуляя по Москве, только и делает, что зыркает вокруг, выискивая подтверждения своего превосходства. Мало-помалу он и сам стал зыркать. И когда однажды Любочка, остановившись у края

мостовой и указав на регулировщика в белой форме, шепнула: “Ты только посмотри на него! Ведь это страшно — он и сам стал машиной!” — Лёсик почти с наслаждением уставился на белого человека. Его движения действительно поражали механической отточенностью, но ещё недавно Лёсик не придавал бы этому никакого значения, признав такой порядок вещей совершенно естественным и даже необходимым. Теперь же регулировщик стал ему жалок. Он, Алексей Машкин, свободный человек и большой поэт, смотрел на этого пляшущего среди гудящих автомобилей человечка и убеждал себя, что увиденное им отвратительно. Не работа регулировщика, не гармонизация дорожного хаоса казались ему отвратительными, но исчезновение личности у белого человека на острове среди мостовой — явление, по их с Любочкой убеждению, ставшее типичным и повсеместным. Но спроси кто-нибудь у Лёсика: “А как же надо?” — Лёсик бы только отмахнулся: почему он должен знать, как надо? Он знает, как ему и Любочке не нравится, а стало быть, как не надо. Разве этого недостаточно для человека свободного и талантливомго?

И всё же, соглашаясь с Любочкой, глядя на мир её глазами, Лёсик порой чувствовал какую-то раздвоенность, потому что Любочкина ненависть отдавала пустотой. Он не смог бы объяснить, почему это так, но временами, глядя на Любочку, он чего-то боялся. Как в юности, купаясь у берегов Коктебеля, боялся заглянуть в бездну, начинавшуюся за мелководьем.

Ах, как давно это было! Коктебель, Чёрное море... Он снимал тогда комнату в пансионе старухи-армянки. Соседом его был молодой московский биолог Павел Петрович Бузий, оказавшийся любителем поэзии и даже читавший стихи Лёсика в каком-то журнале. Лёсик и Павел Петрович ходили вместе купаться, читали стихи, горячо спорили и жаловались друг другу на хозяйку. Толстая и усатая владелица пансиона всё время улыбалась полубеззубым ртом. Даже когда выслушивала неудовольствие жильцов по поводу вчерашнего хлеба к завтраку или заветренного сыра.

— Сусанна Хачиковна, — зывал Лёсик, — в моей комнате пыли на палец! Помилосердствуйте!

— Чего для вам не сделать! — улыбалась хозяйка, и огромное тело её колыхалось.

И действительно, в тот же день на полу и на столе в комнате Лёсика появлялись разводы в виде огромных восьмёрок.

— Вот старая ведьма! — жаловался Лёсик Бузию.

— Вам ещё повезло! — отвечал тот. — Вы определённо ей нравитесь. У меня она убирает только с третьей жалобы. На вашем месте я бы женился на ней и унаследовал пансион.

И они принимались так хохотать, что прохожие останавливались и смотрели вслед двум загорелым, с выгоревшими волосами молодым людям в белых рубашках и белых же брюках.

В те годы Лёсик грезил революцией. Говорил, что предчувствует и приветствует её. Верил, что она несёт счастье и освобождение и что похожа революция на огромные ножницы, срезающие путы с ног России.

— А вы не задумывались, мой друг, — загадочно вопрошал Бузий, — что революция — это не кисейная барышня? Ведь эта дама может и постоять за себя.

— Вот и прекрасно! — восклицал Лёсик. — Прекрасно! Не понимаю, почему вы говорите об этом так... Так странно. Словно видите в этом нечто ужасное.

— Вы правы, — соглашался Бузий, — я и в самом деле вижу в этом “нечто ужасное”, как вы изволили выразиться. Потому что революция — это драка. И драка не до первой крови. Драка затяжная, до окончательного утверждения одних и уничтожения других. Инерция революции может быть страшней самой революции. Не так страшна внезапная остановка поезда, как падающие в силу инерции пассажиры, ломающие руки и разбивающие головы. Что, если и ваша голова пострадает после того, как стоп-кран с надписью “Революция” будет приведён в действие в поезде под названием “Россия”?

— Этак уже и на войну больше похоже, — улыбался Лёсик.



— И снова правы! Я не хотел только использовать это слово так, сразу. Но если начистоту, революция — это и есть война. Причём война до победного конца, на уничтожение. Иначе ей просто не выжить. Любого, кто встанет у неё на пути, она уничтожает. И это — аксиома. Так нужно ли? Стоит ли оно того?

— О, нужно! Нужно! — восклицал Лёсик, пускаясь в пространные рассуждения о народе, которого не знал, и об идеях, в которых почти ничего не смыслил.

— А вы не допускаете, что любое новшество далеко не всегда и не сразу оказывается тем, чем и было задумано? И что становление новой жизни может затянуться и затянуться болезненно?..

— О, нет! — снова восклицал Лёсик. — Я не боюсь нового. Нельзя бояться! Иначе ничего и не будет. Мы все станем работать. Работать много, не поднимая головы, засыпая там, где только что работали. Потому что только такой труд преобразует мир...

Павел Петрович улыбался в ответ, и спор затихал.

А вечерами, отужинав, они снова шли к морю, садились на песок и слушали плеск волны. Иногда Бузий просил:

— Почитайте что-нибудь!

И Лёсик тихо читал:

*Вы слышите: поёт звезда о том, что ночь близка,  
О том, что видели с земли чудного седока.*

*Ведь ночь летит на соловье — ни сбруи, ни седла,  
А в клюве держит соловей шкатулку из стекла.*

*И что-то светится во мгле, на дне шкатулке той.  
И кто-то шепчет из ветвей: там месяц золотой.*

*Пред ночью небо, как сапфир, за нею вьётся тьма —  
То грива чёрная волос чернее, чем сурьма.*

*Распустит ночь свои власы, укроет небосклон,  
Опугав сотни светлячков и звёзд квадриллион.*

*Но стоит скрыться соловью за хрупкий окоём,  
Как смоляных её волос уже не видно днём.*

— Ах, как это хорошо! — говорил Бузий. И они снова умолкали, слушая волну и вглядываясь в синее свечение воды.

Да, тогда были стихи. Были образы — то прекрасные и загадочные, то грозные и величественные. Было Слово — осмысленное и стройное. Временами он видел странные сны, походившие на явь. И просыпаясь, долго не мог проникнуться уверенностью: проснулся он только что или, напротив, уснул. Ему снились петербургские мосты, дамы с лимонными плечами, обсыпанные корицей бабочки и печальные стрекозы, что заглядывают в глаза прохожим. Мир, виденный им во сне, казался родным. Там он ощущал себя в безопасности. Просыпаясь, он пугался и думал, что так, должно быть, чувствует себя младенец, появляющийся на свет. Во сне текли кофейные реки, а псы, ходящие на задних лапах, раскланивались и снимали цилиндры. Лёсик очень хорошо помнил, как один из псов, рыжей, кажется, масти, улыбнулся ему, показав золотой клык. Рыбы в полосатых чулках ехали по Невскому проспекту в старинных экипажах, высовывая морды в окошки. А в редких сугробах расцветали кусты алых роз. Ещё из студенческих лет Лёсик вынес, что старый мир должен упасть. Что будет затем — кто его знает? Быть может, псы с золотыми зубами станут снимать цилиндры, а рыбы в полосатых чулках ездить в экипажах. Но мир в пошлой своей прозаичности повлётся в другую сторону. Туда, где невозможны ни кофейные реки, ни бабочки, обсыпанные корицей.

А потом что-то переменялось. Слова шли сплошным потоком, замыкаясь на рифме и утрачивая первоначальный смысл; втискиваясь в заданную форму то боком, то задом; игнорируя всяческие нормы и правила. Эти слова отрекались от своего значения, произвольно меняли род с женского на мужской и обратно и занимали место в строке только потому, что подходили по звучанию и ритму. Ни мудрости, ни прозрений, ни даже вятного сюжета не было в этих стихах. Лёсик и сам всё это видел, но превозмочь не мог, отчего только злился.

Он всё ещё дышал стихами. Музыка стиха звучала в голове, и смутные чувства преследовали его, как злые духи. Поэзия клокотала в нём, но не находила выхода. Казалось, ему всё равно, о чём он пишет. Взволнованный мыслью или промелькнувшим чувством, он выплёскивал из себя стихи, где главным было не значение, а звучание. Причём звучание, понятное только самому Лёсику. Тишина для него выражалась буквой “ш”, солнце — буквой “л”, тревога — “р”. Главными были звуки. А образы теперь заменялись какими-то смутными видениями, выплывавшими не то из сумрака лет, не то из недр сознания, не то из других миров или снов. Временами эти видения приставали в музее после простаивания перед какой-нибудь картиной или отыскивались в сутолоке блошиного рынка. Получалось сложно и непонятно. Поэзия его обретала сходство с Талмудом, где одна книга необходима для того, чтобы истолковать другую.

Лёсику приходилось признать, что стихи — настоящие стихи, за которые он и в самом деле мог бы считать себя поэтом, — были связаны с Петербургом и тогдашним окружением. И что так или иначе, но без тех людей его стихи перестали быть стихами, превратившись в потоки полубессмысленных слов. О Москве он писал, что она слеплена сороками в духе раннего буддизма. Яблоки его тянуло назвать “грамотными”, груши — “прилежными”, закат — “резиновым”. “Арбузно-пустым” представлялось ему лето, “по-институтски скромным” молоко. И дело было в том, что, назови он молоко “развратным”, ничего бы не изменилось — и так, и так смысла не было ни на грош. Стихи его были криком, но голоса порой не хватало, а слова застревали в горле, отчего выходило то неправильно, то непонятно.

Конечно, всему можно было подыскать объяснение, что и делала с охотой Любочка, растолковывая знакомым, будто “янтарная зима” означает “морозная”, потому что янтарь — это застывшая смола, а зимой тоже всё застывает. Но Лёсик-то знал, что всё это не то.

Напрасно он понадеялся на Москву. Чуда не произошло, столица не пробудила прежних чувств, не научила вновь слышать хор светил. Зато с некоторых пор стала раздражать едва ли не на каждом шагу. О, эта Москва! О, грубая славянщина, ничтожная и однообразная, помесь человека с крысой! Молох, языческая прорва. Ни одна другая столица мира не требует столько крови и не забирает столько силы. Всё худшее, что есть в России и в русских, вобрал в себя этот город. Видит Бог, он честно пытался прорасти в Москву, впитать её соки, обретая в них источник жизни. Но то ли впитывать было нечего, то ли Москва не желала питать его и видеть в числе детей своих. Однажды Лёсик явственно осознал, что это чужой и чуждый ему город. Больше того, он вынужден был признать, что и страна теперь была чужой и чуждой. Сначала он даже испугался перемен в себе. Ведь он и сам был низкого сословия, да и красотой не наградил его Господь. Так чего же он хотел от людей вокруг, если сам он — один из них, такой же бесцветный и угрюмый? И если бы ничего не менялось в стране, всё равно ни одна из великих княжон не держала бы его под руку и ни одна красавица Петербурга не отдала бы ему своё сердце.

В голове у Лёсика всё смешалось. Когда-то он мечтал о революции, но потом возненавидел её. Всё было дико. Никакой ясности, ничего определённого, одна только нескончаемая путаница. Конечно, появлялось что-то новое, разумное по сути и в замысле, но тут же в этом новом обнаруживалось человеческое присутствие, проявившееся то пошлостью, то глупостью,

то жестокостью, то подлостью. И тогда казалось, что нужно было как-нибудь по-другому. Но как?! На этот вопрос ответить было некому, но все прежние мечты, все ожидания рассыпались. Те, кто пытались объяснить этот крах, винили во всём революцию и людей, действовавших от её имени. “Идея-то хорошая, — шёпотом говорили другие, — но претворима ли она? Взять хоть христианство. Тоже ведь утопия. Но оно и понятнее, да и покрасивше будет. А тут что?” Но потом все расходились, служили, спали, жевали, сидели, как ни в чём не бывало, в театрах. А Лёсик думалось, что одни обещают невозможное, другие лгут, третьи шпионят, четвёртые травят тех, чьё место хотели бы занять, пятые, может, и пытаются упорядочить этот нескончаемый хаос, но ничего у них не выходит. И голова у Лёсика начинала кружиться. “Революция — это война до победного конца... Любого, кто встанет у неё на пути, она уничтожает...”, “Инерция революции может быть страшней самой революции...” — звучал в этой голове голос Павла Петровича Бузия.

Но Лёсик не хотел признавать свою неправоту. Находясь к тому же под влиянием Любочки, он поступил так, как нередко поступают несчастные и недовольные, — нашёл источник всех бед вовне. Источником этим оказалась... Россия. Это именно в России всё происходит не так, как должно происходить; всё в России неправильно и непохоже на остальной мир. Даже хвалёная русская литература не так уж и хороша, как принято о ней думать. И революция здесь неправильная. Да и женщины не так уж красивы — все они бесцветные, курносые, сероглазые. Отыскав это объяснение, Лёсик даже немного успокоился. Но вместе с тем стал наливаясь ненавистью, как сосущее насекомое кровью.

А нужно было жить. Нужно было работать, чтобы покупать колбасу и белое вино, чулки и замшевые лодочки, чтобы добыть квартиру и съездить в Крым. Приходилось не просто писать стихи в своё удовольствие, а трудиться, как он сам же недавно призывал. Приходилось “отдавать талант революции”, как объяснили ему в одном толстом журнале.

Зарабатывать он хотел и мог исключительно литературным трудом. Но писал он так мало, что даже при условии оплаты за каждое маленькое стихотворение прожить на заработанное они всё равное не смогли бы. В писательском союзе предложили заняться переводами — переводить европейскую литературу для массового советского читателя. Лёсик хоть и знал по-французски, но переводить первоначально отказался, потому что презирал и сами переводы, и работу переводчика. Впрочем, он всё же попробовал было перевести кое-что из поэзии Гюго, но переводы его издатель не просто не принял, но и пустился в долгие и, как показалось Лёсику, обидные разглагольствования.

— Поймите, — объяснял ему редактор недавно образовавшегося издательства “Серп и молот”, — мы создаём институт перевода. У нас государственный заказ. Это не баловство! Наш читатель — массовый, заметьте, читатель — должен познать Гюго на русском языке. Скажете: невозможно?! А должно стать возможным. Поэтому перевод должен максимально соответствовать оригиналу и по форме, и по содержанию. А у вас, извините, вариации на тему...

Тогда жизнерадостный эссеист из угловой комнаты надоумил писать статьи в газеты. А романист Задворкин подсказал насчёт пьес и сценариев — сценарий можно было пристроить в “СовКино”. Лёсик стал писать о том, что хорошо знал, — о литературе, о Крыме, о Ленинграде. Но сценарии ему вовсе не удавались — он выделял не то и не так, и никогда никакого фильма не могло бы получиться по написанному им сценарию. Пьесы также не получались — поставить их было не под силу даже Мейерхольду.

— Почему так? — спрашивал Лёсик у Любочки, и глаза его исполнялись скорби.

— Просто ты остался свободным, — заверяла Любочка. — Ты не стал таким, как они. И они это прекрасно знают!

И Лёсик соглашался, потому что так проще. А Любочка подначивала:

— Они отлично всё видят. И знают, что ты среди них — самый талантливый и свободный. И поверь мне, они ещё накажут тебя за это.

Некоторые статьи удавалось опубликовать, и тогда Лёсик радовался, как ребёнок. Но заработки всё равно оставались редкими и случайными. Даже со статьями ему отказывали.

— Ваши статьи, — ворчали в журналах, — непонятны читателю. Ваша мысль неясна, да и бездоказательна. Не поймёшь, о чём вы пишете и что хотите сказать! Грешным делом, можно подумать, что вы и сами не понимаете, о чём пишете. Очень много воды и очень мало конкретики. Читатель ничего не почерпнёт из вашего полководья...

После таких отзывов Лёсик бежал к Павлу Петровичу. Следует сказать, что когда Лёсик только явился в Москву, то едва ли не первым делом отправился искать Павла Петровича Бузия — к тому времени профессора Московского университета. С Бузием Лёсика связывало что-то невыразимо приятное и беззаботное, — по всей видимости, воспоминания о Коктебеле. К тому же он считал Бузия своим другом, причём другом ещё из прошлой жизни, и, сам не зная почему, безраздельно доверял ему. Очевидно, и Павел Петрович испытывал к Лёсику нечто подобное, потому что никогда не отказывался выслушать его, помогал советом и принимал всяческое участие. Лёсик приходил жаловаться на отвергнутые стихи, недоумевая, почему, ну, почему их не печатают? Но Бузий не удивлялся и спокойно объяснял:

— Что же, стихи ваши и в самом деле не всегда понятны. Признаюсь, я и сам не всё понимаю... Вот прочтите-ка ещё раз... вот это... про шубу...

Лёсик начинал читать, и адамово яблоко трепыхалось в узкой его гортани, как птица в силках:

*Вспомни тот тихий, крадущийся, ласковый вечер.  
Лунная стынъ на пороге застыла моём.  
Ты златорунную шубу накинь мне на плечи  
И уведи меня за снеговой окоём.*

*Бесятся мглистые, огнеплюющие кони.  
Не оболщайся бесстрастным течением рек.  
Яблоко дивное мне поднеси на ладони,  
Чтобы, испробовав, ночи не видеть вовек.*

*Ты подари мне звезду, что рассеяла тени,  
Смутные абрисы злобных и грозных существ.  
Нас зачарует душистою ночью цветение  
Белых цветов для венка полуночных торжеств.*

— Ну?.. Неудивительно! — подводил черту Бузий, когда Лёсик заканчивал. — Что это за “мой”, “мне”, “меня”?.. Да и кто же это поймёт? Вспомните стихи, что вы читали тогда, в Коктебеле — там была тайна, была поэзия... А здесь — как-то всё от ума. Вы уж не обессудьте. Критики напишут, что вы рифмуете слова и подгоняете по ритму.

— Но ведь это не так! — восклицал Лёсик, чуть не плача.

— Я-то вам верю. Но других вы не убедите.

Тогда Лёсик вспоминал Петербург, Петроград и начинал перечислять имена тех, с кем дружил в те годы, кому читал свои стихи и чьей похвалой дорожил. Но Бузий только качал головой.

— Не стану с ними спорить, — говорил он. — Более того, скажу вам так: очень может статься, что когда-нибудь их мнение перевесит все остальные суждения о вас. Но вот когда это случится, я знать не могу. Но не забывайте: в те годы вы и стихи ваши — всё было другим...

Лёсику хотелось обидеться на Павла Петровича за непонимание им новых стихов, за отношение, не соответствующее значению, которое сам себе определил Лёсик. Но Бузий смотрел так открыто, так искренне уверял в грядущем признании и приятии, да и вообще был так спокоен и добр, что обижаться не получалось. И в следующий раз, когда Лёсик оказывался недооценённым, он снова приходил к Павлу Петровичу. И Павел Петрович внимательно выслушивал его и давал советы. Когда ни один журнал и ни

одна газета не согласилась принять статью Алексея Машкина о русской литературе XIX века, он снова явился к Бузию. Тот прочитал статью и только пожал плечами.

— Чему же вы удивляетесь, Алексей Венедиктович? Вы же Чехова с грязью мешали... Да вот же...

— Ну, а если я не люблю Чехова? — заносчиво заявил Лёсик.

Они прогуливались по Тверскому бульвару, и Лёсик напряжённо прислушивался, как похрустывают под ногами высохшие рыжие листья, толстым слоем покрывавшие бульвар.

— Не любите, — спокойно продолжал Бузий, — так и не любите. А ругаться-то зачем? О таких вещах стоит писать деликатно или вообще не писать. А иначе... Иначе это выглядит вызывающе и жалко.

На слове “жалко” Лёсик вздрогнул.

— Ведь это не анализ, — объяснял ему Павел Петрович, — а самые обыкновенные нападки, ваши личные предпочтения. А кому в наше время интересны чьи бы то ни было личные предпочтения? И чему же вы удивляетесь? Неужели вы рассчитывали, что хоть кто-нибудь напечатает эту статью? Бузий замолчал. Лёсик носком ботинка поднял рыжий фонтан.

— Зачем ругаться? — снова заговорил Павел Петрович. — Вот вы пишете: “Чтение Чехова способно только изуродовать...” Для чего это? Собственно, даже и мнение своё вы могли бы изложить сдержанно, интеллигентно, что ли — под стать Чехову. Чтобы виден был смысл. Суть того, о чём вы хотите поведать миру. А сейчас видны только вы сами.

— Но я не могу не сказать о своих чувствах! Иначе это будет холодно, отстранённо...

— Не можете интеллигентно, не пишете вовсе, — улыбнулся Бузий. — Всё равно ведь не напечатает.

— Нет. Я буду писать, — твёрдо и тихо заявил Лёсик. — Буду, несмотря ни на что. Сейчас я не нужен, но буду нужен потом.

— Тогда не жалуйтесь, что не печатают, — заключил Бузий и стал говорить о новом романе писателя Прохладного, вышедшем в последнем номере одного из толстых журналов.

Лёсик слушал и понимал, что ненавидит писателя Прохладного, принадлежавшего к породе людей, что окружали Лёсика в Петрограде. Барственный, добродушный, привыкший жить на широкую ногу и одарённый сверх всякой меры. Всё, за что бы он ни брался, удавалось ему легко и красиво. И глядя на него, можно было не сомневаться: этот человек не просто доволен жизнью, но и вряд ли понимает, почему кто-то может быть ею недоволен.

\* \* \*

Той же осенью Любочка заболела. И врач, присланный к Машкиным Павлом Петровичем, посоветовал отправить её в Крым.

— С лёгкими не шутят, — сказал он. И добавив: “Да-с!” — так посмотрел на Лёсика, словно тот неудачно пошутил насчёт чьих-то лёгких. Лёсик растерялся и беспорядочно забормотал что-то про “конечно”, “обязательно” и “в ближайшие дни”.

Денег было совсем немного, но, подсчитав, Машкины решили, что если Любочка уедет в Ялту одна, то недели две, снимая комнату в Гурзуфе, она вполне сможет прожить. Лёсик же тем временем займётся ненавистными переводами, выложится и постарается убаготворить редактора, а заодно вымолить аванс. Заработки пойдут на содержание Любочки в Крыму до декабря или до полного исцеления. Если, конечно, исцеление наступит раньше декабря. План показался осуществимым, отчего оба приободрились и даже размечтались, как Лёсик, получив аванс, приедет к Любочке в Гурзуф дышать морским воздухом и пить вино. Когда речь зашла о вине, Любочка даже развеселилась, потому что Лёсик попросил её не пить в одиночестве. Любочка пообещала и укатила в Ялту. А Лёсик, преодолевая отвращение, направился в “Серп и Молот”.

— Я знал, что вы вернётесь, Машкин, — сказал ему редактор по фамилии Кушнарёв, плотный, квадратный человек с коротко остриженными, тронутыми сединой чёрными волосами. Он пожал Лёсику руку, и Лёсик почувствовал, что сжимает в ладони кусок древесной коры.

— У меня для вас не только Гюго, — заговорщицки сказал Кушнарёв. — Есть ещё Мюссе, Вийон и даже Бальзак.

На Бальзаке он понизил голос, как будто речь шла о маркизе де Саде.

— Спасибо, Аркадий Абрамович, — пробормотал Лёсик, пугаясь отчего-то имён великих французов.

Весь день он провёл в “Серпе”, выслушивая рассказы о грандиозных планах издательства и отбирая работу на ближайшее время. Выяснилась, кстати, прелюбопытная вещь. К весне должна появиться не только антология поэзии, но и первый том Бальзака.

— Вы слышали о Стаханове? — спросил Кушнарёв.

Конечно, Лёсик слышал о Стаханове, но пока не понимал, какое отношение он мог иметь к переводам.

— Само собой, мы не уголь рубим, — пояснил Аркадий Абрамович. — Но и мы способны показать темпы работы. Вы согласны?

Лёсик, всё ещё плохо понимающий, что от него требуется, на всякий случай согласился.

— Поэтому мы будем не только переводить, — продолжал издатель, — но и обрабатывать. Но пока не забивайте себе этим голову и спокойно переводите Гюго. Со временем всё разъяснится.

В итоге Лёсик получил неплохой аванс, папку со стихами Виктора Гюго и талоны на обеды в столовке “Серпа”. И на другой же день, отправив гонорар Любочке, Лёсик засел за работу.

Дней через десять он снова стоял перед Кушнарёвым, а тот читал:

*В лесных озёрах, дремлющих в тиши,  
На донце человеческой души  
Мы видим небеса, где солнца луч играет,  
Где тучи хмурые нередко пробегают;  
И тину вязкую, где нестерпимый смрад  
И змеи чёрные во множестве кишат.*

— Недурно, — пожал он плечами. — Очень недурно. Можете же, когда захотите!.. Давайте продолжать, Машкин.

Лёсик отправился домой с новой папкой. А вечером он писал Любочке: “Душенька моя, любимочка! Как ты себя чувствуешь? Как здоровьице твоё? А я здоров отменно и много работаю. Завтра отправлю тебе ещё денежек, чтобы ты хорошенечко кушала, моя родненькая. Покупай себе мандаринки. И маслице обязательно кушай, родненькая. Будем работать, чтобы любимочка скорее поправилась. А я, как только смогу, постараюсь к тебе приехать. Но если не будет получаться, ты потерпи. И я буду терпеть. Главное — это твоё здоровьице. Мы оба должны всё делать только для того, чтобы его поправить. А потом уже будем делать, что захотим. Целую тебя, родненькая. Твой Л.”

Такие письма он писал каждый день, тоскуя в своей комнате без жены и мечтая, как бы и самому отправиться в Крым. Но приходилось работать, приходилось гнать по-стахановски переводы, чтобы поддерживать хотя бы Любочкино безбедное существование в Гурзуфе. Помимо платы за комнату и врача, Любочке нужно было хорошее питание. Врач советовал пить молоко, на завтрак непременно есть хорошее сливочное масло и белый хлеб. А самой Любочке хотелось ветчинки. И икорки тоже хотелось. И чтобы Любочка ни в чём себе не отказывала, Лёсик, точно вол, впрягся в нагруженную с верхом повозку, перелопачивая французскую поэзию и пытаясь донести до соотечественников острый галльский смысл.

Работа вызывала у него странные чувства. Прежде всего, он убеждённо презирал переводы как таковые. И все разговоры о пользе, приносимой Отечеству, или о просвещении не могли поколебать его в этом убеждении.

Но в то же самое время, начав заниматься переводами ради заработка, он постепенно так увлёкся, что даже выступил с несколькими предложениями по усовершенствованию работы переводчиков. Или, лучше сказать, по усовершенствованию преподавания иностранных языков, дабы *“все, включая крестьян и домохозяек, смогли бы читать иностранную литературу в подлиннике и получать собственное впечатление, не обусловленное переводчиком и не зависящее от знания им языка перевода”*. Статья о переводах и обучении иностранным языкам была напечатана в “Известиях” и вызвала оживлённые споры в других изданиях.

Однако декабрь подходил к концу, а Лёсик так и не побывал в Крыму. Любочка тоже не возвращалась, намереваясь пробыть в Гурзуфе как можно дольше. Во всяком случае, до тех пор, пока Лёсик был в состоянии оплачивать это пребывание.

Когда однажды Лёсик с тёмными от бессонных ночей кругами вокруг глаз явился в “Серп” с очередной порцией переводов, кажется, Корбёра, Аркадий Абрамович, перейдя вдруг на “ты”, сказал:

— Вот что, Алексей Венедиктович, берёмся за Бальзака. Готов ты с прозой работать или всё по стихам желаешь?..

Лёсик вспомнил про стахановские темпы и опять чего-то испугался. Но тут же подумал, что гонорары за прозу должны быть выше, чем за стихи, вспомнил Крым и, сглотнув слюну, сказал:

— Отчего же? Я готов, Абрам Арка... э-э-э... Аркадий Абрамович...

И с этого момента началось падение Алексея Машкина, о чём сам он, разумеется, никак не догадывался. Можно даже сказать, что, заключив контракт на “обработку” “Евгений Гранде”, Лёсик подписал себе смертный приговор. Впрочем, начиналось всё вполне невинно. Кушнарёв объяснил:

— Новый перевод стихов — это одно. А прозы — совсем другое!

Лёсик был вынужден согласиться.

— Но! — продолжал Кушнарёв, снова отчего-то переходя на “вы”. — Понимаете ли вы, что новый перевод — это затратно? Это дорого и долго.

Лёсик кивнул.

— Тогда вы должны признать, что в наших же с вами интересах избежать лишних расходов и по возможности сократить их.

Лёсик снова кивнул.

— Тогда давайте именно так и поступим! — воскликнул обрадованный чем-то Аркадий Абрамович.

— Давайте, — согласился Лёсик, всё ещё не догадываясь, куда клонит издатель.

— Что вы читали из Достоевского? — спросил вдруг Кушнарёв, выступившая по столу “Куплеты тореадора”.

— Э-э-э... — растерялся было Лёсик. — Всё читал, Аркадий Абрамович!

— И “Евгений Гранде”?

— Да... Но, виноват... Ведь это не Достоевский! — пролепетал Лёсик, переставший понимать что бы то ни было.

— Ну да, да, — нетерпеливо закивал Аркадий Абрамович. — Я имею в виду перевод Достоевским Бальзака.

Лёсик решил, что пытаться ухватить мысль издателя — дело бесполезное, а потому лучше набраться терпения и ждать, когда он сам скажет, к чему клонит. Ждать оказалось недолго. Походив вокруг да около, Аркадий Абрамович объяснил, что, начиная с Бальзака, они попробуют использовать старые переводы. И задачей Лёсика будет сделать их более современными, а при необходимости подчистить классово-невыдержанные фантазии заграничного сочинителя. Поскольку старые переводы порой и впрямь далеки от совершенства, то работы у Лёсика будет немало. Нужно будет не просто отредактировать чужой перевод, но и сделать его понятным для советского читателя — раз, сделать его неизвестным — два. То есть Лёсик воспользуется текстом Достоевского, но уберёт все “инда” и “давеча”, заменив на “так что” и “недавно”. В результате должен появиться новый перевод, автором которого будет значиться Лёсик — Алексей Венедиктович Машкин.

Лёсику вдруг стало тоскливо, как будто среди ясного дня померкло солнце. Но он вспомнил Гурзуф, террасу дома Раевских, дачу Чехова и промолчал. И вскоре “Евгения Гранде”, изменённая до неузнаваемости, легла на стол Аркадия Абрамовича. А Лёсик занялся “Утраченными иллюзиями”. Задание было прежним: из старого перевода сделать новый. С тою лишь разницей, что переводчик по фамилии Астраханский, в отличие от Фёдора Михайловича Достоевского, здоровствовал и был даже довольно активен, то и дело появляясь в печати с новыми переводами испанских и французских поэтов и даже со статьями по усовершенствованию художественного перевода как такового. Астраханский был одним из тех, кто ответил Лёсику в “Литературной газете” насчёт обучения домохозяек французскому языку. Теперь же Лёсику предстояло так перелицевать “Утраченные иллюзии”, чтобы сам Астраханский ничего не понял. К этому времени Лёсик уже отчётливо понимал, что Аркадий Абрамович почти втянул его в аферу, могущую дурно завершиться.

Обработка готового перевода стоила издательству дешевле, чем перевод с нуля. Выгода Лёсика заключалась в получении сравнительно быстрых и лёгких денег, а равно и славы переводчика. И всё бы прошло хорошо, если бы Астраханский не оказался “взедливым и докучливым типом”, как выразился Аркадий Абрамович.

Едва “Литературная газета” сообщила о выходе первого тома собрания сочинений Оноре де Бальзака, как уже через несколько дней Алексей Машкин получил по почте письмо следующего содержания:

*“Милостивый государь!*

*Вы, вероятно, находите забавным приписывать чужим произведениям своё авторство. Вынужден разочаровать Вас: подобные проказы отнюдь не всем кажутся весёлыми, и не все готовы разделять с Вами Вашу радость.*

*Что же касается до меня, то будучи лицом, пострадавшим от Вашей неуёмной резвости, я намерен искать справедливости в соответствующих и приличествующих случаю организациях.*

*За сим остаюсь Вашим неприятелем.*

*Обокраденный Вами,*

*Семён Астраханский”.*

Лёсик перепугался не на шутку. А ведь была у него мысль оставить в договоре вместо “перевод и обработка” только “обработка” и просить Кушнарёва не указывать его имени как переводчика. Но это требовало разговора с Аркадием Абрамовичем и рассуждений, требовало усилий, делать которые Лёсику не хотелось. И Лёсик не сделал. Зато теперь от него определённо потребуются усилия иного рода, и отвергнется уже не получится.

Но Любочка далеко, и обсудить это ужасное письмо не с кем. Лёсик решил наведаться к Павлу Петровичу. Захватив письмо Астраханского, он кинулся к Бузию, вдруг подумав, что довольно давно не видел своего друга и не говорил с ним. Но, явившись в Старосадский переулок, где квартировал Павел Петрович, Лёсик обнаружил, что самого Бузия нет, зато на двери его комнаты висит печать, появляющаяся только в двух случаях, один из которых — смерть жильца. Соседи же, завидев, что к Бузию посетители, отворачиваются, а то и прячутся, словно обнаружив на этих самых посетителях коросту проказы. Это было невероятно.

Лёсик, к прежнему испугу которого прибавился новый, побрёл домой. Только сейчас он вдруг подумал, что никогда прежде не интересовался, чем живёт его друг. Он приходил к Бузию, жаловался на судьбу, искал совета, но ни разу не спросил, а нужен ли совет самому Павлу Петровичу, не хотел бы Павел Петрович и сам пожаловаться или выговориться. Получалось, что Лёсик и не знал как следует своего друга, не имел ни малейшего понятия о том, чем он живёт и занимается. Нет, Лёсик, конечно же, знал, что Бузий холост. А ещё, что он специалист по головоногим. Да и то, о последнем он узнал в Криму, когда с Бузием они, смеясь, сетовали на отсутствие в Чёрном море кальмаров и осьминогов. Но как головоногие могли подвести Павла Петровича к узилищу, Лёсик не мог понять. Зато он вдруг понял, вспомнив давнишние свои рассуждения о революции, что в исчезновении



Бузия отчасти виноват и он, поэт Алексей Машкин, призывавший революцию и не желавший думать об инерции революционного движения.

\* \* \*

А спустя дня два или три после похода Лёсика к Бузию, в “Известиях”, ещё недавно опубликовавших статью Лёсика о переводах, вышла другая статья, называвшаяся “Литературный воришка”. Под статьёй значилось: “Семён Астраханский”. В самой же статье говорилось: “Издательство “Серп и Молот” заявило о начале выхода нового собрания сочинений французского писателя Оноре де Бальзака. И вот я, как давнишний поклонник и переводчик Бальзака на русский язык, с радостью раздобыл первый том для ознакомления с новым переводом. Желая найти отличия с работой, выполненной мною почти двадцать лет назад, я вдруг с недоумением узнал тот самый двадцатилетней давности свой перевод, сдобренный нелепыми исправлениями и заменами. Да к тому же ещё за подписью А. Машкина. С ужасом взирал я на картину воровства, припоминая, что это тот самый Машкин, призывавший не так давно доярок и чесателей льна к изучению латыни и прочих чужеземных языков. И вдруг этот радетель просвещения оказывается всего лишь мелким литературным воришкой...” Астраханский доказывал: Лёсик никогда не видел французского текста. К тому же Астраханский действительно представил целый список исправлений и замен, которые иначе как нелепыми не повернулся бы назвать ни один язык.

Лёсик держал газету в руках и не понимал, жив ли он, сидит ли на бульваре неподалёку от своего жёлтого флигеля или, может быть, примостился у скалы в Гурзуфе, а у ног его шумит море. Потом он очнулся, перечитал ещё раз и представил, что в это же самое время вместе с ним статью прочитали миллионы других людей. И зажмурил глаза. Ему хотелось заплакать, позвать Любочку или побегать к Павлу Петровичу. Но ничего этого он сделать не мог. Зная по опыту, что карандаш успокаивает, он решил записать всё, что думает и что сказал бы в ответ противному Астраханскому.

И уже в следующем номере “Литературной газеты” появился “Ответ Алексея Машкина Семёну Астраханскому”.

“При всём моём уважении к почтенному переводчику, — писал Лёсик, — вынужден я признать, что безмерно удивлён, как мог такой почтенный литератор унизиться до обвинений меня, своего товарища, в воровстве. И на том только основании, что я всего лишь хотел усовершенствовать его работу, сделать так, чтобы каждое слово великого Бальзака звучало одновременно по-русски и в духе оригинала.

Что из того, что я исправил недочёты? Разве не благодарен должен был быть переводчик за исправления? Но нет! Из-за нелепых обид по мелочным причинам он решился опозорить меня и навеки лишит покоя. О времена, о нравы!...” Далее Лёсик сетовал на человеческое равнодушие и удивлялся, как только пришлось переводчику в голову поднимать шум из-за таких пустяков и выставять его, опытного литератора, знававшего ещё по Петербургу столпов русской поэзии, на всеобщее посмешище, позорить так, словно и впрямь было что-то украдено.

Тем же вечером пришла телеграмма: “Завтра выезжаю домой тчк Встречай тчк Ничего больше не пиши тчк Л”. Лёсик так обрадовался, что тут же забыл, как не мог прийти в себя и по прочтении “Литературного воришки”, и после похода в Старосадский переулок. Ему пришлось в голову, что глупое недоразумение с Астраханским случилось очень кстати, потому что из-за него Любочка возвращается, а значит, ничего плохого больше не будет. И тут же Лёсик заметил, что вокруг шумит весна, причём весна дружная — с ослепительным солнцем, истощным чириканьем и неудержимыми ручьями повсюду. Конечно, Бузия жаль. Но после телеграммы Лёсик не сомневался, что с Бузием случилось недоразумение, что всё разрешится в ближайшее время и забудется как страшный сон.

Но когда вышел ещё один номер “Литературной газеты”, который Лёсик читал уже вместе с Любочкой, выяснилось, что забывать никто ничего не намерен. Более того, из прочитанного можно было сделать вывод, что “издательскую ошибку”, как склонен был называть Лёсик свою подпись под чужой работой, писательская общественность ещё долго намерена обсуждать. *“Не известно ещё, что лучше, — писал сосед Лёсика Задворкин, — прямой плагиат, цельное заимствование или мелкое литературное воровство с расчётом, что пронесёт и никто не заметит. С горечью московские писатели узнали, что их товарищ и коллега, известный поэт А. Машкин зачем-то присвоил чужую работу, незначительно перед тем её перелицевав. Зачем понадобилось Машкину разминиваться на такие низкосортные пустяки, мы не знаем. Зато прекрасно видим, что перед нами — мелкий мошенник, сразу упавший в глазах своих товарищей. Теперь, прежде чем прочитать Машкину свои стихи или прозу, поневоле задумаешься и усомнишься...”*

Лёсик был подавлен. Выходило, что на него открыли травлю. Но за что его травят, почему обвиняют и подвергают таким жестоким унижениям, этого Лёсик не мог понять. Произошла ошибка, за которую он мог бы даже извиниться, и на этом стоило бы обо всём забыть.

— Может, он денег хочет? — предположила Любочка, совершенно, кстати, поправившаяся, но уже снова мечтавшая о Крыме.

Такая мысль не приходила Лёсику в голову, и он снова с горечью подумал о Павле Петровиче, с которым даже письмом невозможно было обменяться.

— И что же? — спросил он у Любочки. — Думаешь, предложить ему мой гонорар?

— Откуда мне знать? — раздражённо дёрнула плечом Любочка. — Не узнаем, пока не спросим.

Лёсику мысль о дележе понравилась. И уже в следующем номере “Литературной газеты” Машкины прочитали: *“Конфликт между переводчиками Бальзака набирает обороты. Ещё вчера писательская общественность разделилась надвое: одни выступали с осуждением Алексея Машкина, присвоившего чужой перевод “Утраченных иллюзий”, а другие в то же время призывали первых успокоиться и прекратить порочить честное имя товарища Машкина. Но один небольшой эпизод, как представляется редакции, изменит соотношение сил на поле писательской брани. Дело в том, что пострадавший в этой истории Семён Астраханский передал нам письмо, полученное им накануне от Алексея Машкина. В письме Машкин недвусмысленно предлагает Астраханскому деньги. Причём деньги предложены не в качестве гонорара за перевод, использованный Машкиным, а за молчание пострадавшего. Вряд ли после этого поступка защитники Машкина не утратят иллюзий насчёт порядочности своего подзащитного...”*

А номер, вышедшей следом, был едва ли не весь посвящён Лёсику. Обсуждалось и литературное воровство поэта Машкина, и попытка поэта Машкина купить молчание обворованного им переводчика, и нежелание поэта Машкина принести приличествующие случившемуся извинения, и буржуазные замашки, а равно и пережитки мировоззрения поэта Машкина, огрехи его поэзии, и, наконец, вопрос, поэт ли Алексей Машкин или буржуазный версификатор. Прочитав о себе разом столько интересного, Лёсик оторопел. Даже Любочка, казалось, растерялась и ничего не могла предложить. Когда же в следующем номере “Литературной газеты” Лёсик вычитал, что едва ли может считаться советским поэтом, да и поэтом вообще, поскольку есть не что иное, как *“пустой версификатор, рифмующий что ни попадя с чем попало”*, он слёг в постель. И теперь уже Любочке пришлось думать, куда везти мужа, дабы история с “Утраченными иллюзиями” наконец-то начала забываться. К тому же, Любочка была вынуждена признать, что встречаясь в городе с литераторами, она неизменно ловила на себе насмешливые взгляды. А это означало, что Лёсика ждёт ещё более заинтересованный приём в среде коллег. Стало быть, о “выходе в свет” нечего и думать. Любочка признала, что лучше на время уехать и позволить Москве забыть обо всём, что произошло между горе-переводчиком Машкиным и советскими писателями.

Конечно, лучшим исходом стал бы Крым. Но, увы. На Крым денег решительно не было. И ехать пришлось в деревню под Калинин к престарелой и одинокой Любочкиной тётке.

\* \* \*

Дней десять Лёсик проспал. Изредка он поднимался и снова падал в любезно предоставленную тёткой перину. Потом спать как будто бы расхотелось, да и перина опостылела, и потянуло на воздух. Большую часть дня Лёсик стал просиживать на завалинке. Потом и это ему надоело. И они с Любочкой отправлялись гулять. Тётка объясняла поведение Лёсика болезнью и всем говорила, что он “намаялся”. Вид у него и впрямь был нездоровый — щёки ввалились, под глазами легли синеватые круги. Так что в деревне бродившего тенью Лёсика жалели и даже подкармливали. А к осени Лёсик вдруг сказал Любочке:

— Поедем в Москву.

И они поехали. Но выяснилось, что в Москве их никто не ждал. Даже комната в жёлтом флигеле оказалась занята другим писателем. Любочка было зашипела, но, желаянув на измождённого, несчастного мужа, умолкла.

— Пойдём, — сказал Лёсик.

И они медленно поплелись, не зная куда. На бульваре купили по пирожку и выпили воды с клюквенным сиропом. Подкрепившись, Лёсик сказал:

— Пойдём в Секретариат.

И они побрели в Секретариат. Но там Лёсику сказали, что поскольку он не появлялся в своей комнате больше двух месяцев, то, по правилам, комнату передали другому человеку. А теперь, чтобы получить новую комнату, нужно всё оформлять заново. Но быстро комнату не дадут, потому что очередь и желающих много. При этом все, кто появлялся в Секретариате, смотрели на Лёсика с презрением. Лёсик так и остался для московских писателей литературным воришкой.

Они ещё погуляли по бульварам и отправились на Ярославский вокзал. Было ясно: какое-то время, неизвестно в точности — какое, придётся прожить в деревне на тёткином довольствии. О том, чтобы искать работу самому или же Любочке, Лёсик не хотел и слышать. Он был уверен, что не должен отвлекаться от литературы и что зарабатывать может исключительно литературным трудом. Беда заключалась в том, что его литературный труд никому не был нужен. На тёткиной завалинке Лёсик недоумевал: не так давно он и сам алкал перемен. Но когда призываемые перемены явились, удовлетворения они не принесли. Почему так случилось, Лёсик не понимал. Да, новая жизнь была нелёгкой, а поначалу и вовсе голодной. Но ведь и прежде случалось ему скитаться и голодовать, и не всегда располагал он лишним рублём. И прежде власть была строга, если не жестока. В той, прежней жизни увидеть свои стихи напечатанными было сложнее, чем в новой. И всё-таки с новой жизнью не задавалось. А может быть, он просто был тогда молод?..

Теперь приходилось не просто писать стихи в своё удовольствие, а работать, “отдавая талант революции”. Это прежде он мог подсунуть редактору толстую рукопись с переписанным одним и тем же стихотворением, чтобы получить гонорар вперёд. А в новой жизни за такие проделки его немедленно ославили бы на всю страну и вытолкали бы из литературы вашей. Если чего не хуже. Выходило, что он хотел перемен, но каких-то совсем других. Он хотел, чтобы жизнь изменилась, но так, чтобы жить стало легче, а вовсе не наоборот. Причём легче именно ему, а не кому-то ещё. Чтобы не ему приходилось отдавать талант революции, а чтобы революция сама отдавала ему добытое кровью. И чтобы произошло это как-нибудь поскорее. Но революция требовала, революция настаивала, революция всех ставила под ружьё. А Лёсик не хотел служить. Он хотел писать стихи и пить белое вино на берегу Чёрного моря.

Словом, с возжеленной некогда революцией Лёсик не уживался. И что теперь делать, решительно не знал. Через несколько дней они опять поехали в Москву, потому что сидеть в деревне стало уже невыносимо. Первым делом прямо с вокзала Лёсик и Любочка отправились в Секретариат требовать комнату. Но выяснилось, что день неприёмный, и свои требования высказать некому. Они побывали в редакции, где Лёсик пытался выяснить, можно ли предложить журналу статью. Но ничего определённого так и не услышали. Редактор не говорил “нет”, но и “да” тоже не прозвучало. Тогда они отправились в “Серп”. Здесь, наконец, удача не то чтобы улыбнулась Лёсику, но хотя бы обратила на него взгляд: Аркадий Абрамович, скрепя сердце, согласился на контракт по переводу нескольких стихов Самена для Антологии.

— Но вы должны понимать, Алексей Венедиктович, — морщась отчего-то, проговорил Кушнарёв. — Я очень рискую, соглашаясь на ваше участие в издании. Вы сейчас не в фаворе, и неизвестно, с чем я могу столкнуться по вашей милости. Посему заранее предупреждаю: если кандидатура ваша окажется неудобной, вынужден буду вас заменить. Ну, а гонорар... Бог с ним, оставьте себе.

Лёсику хотелось о многом напомнить издателю, но он решил, что сделает это как-нибудь после, и вместе с Саменом и Любочкой, уже открывшей рот, чтобы, как выяснилось позже, разъяснить Кушнарёву, по чьей милости Лёсик выпал из фавора, покинул кабинет Аркадия Абрамовича. Поездка в Москву оказалась не совсем бесполезной. И Лёсик остался благодарен Кушнарёву пусть и за слабый, но всё-таки шанс избежать забвения в литературе.

— Так и будешь молчать и пресмыкаться? — уже на улице недовольно спросила Любочка.

— Сейчас не время, пойми! — Меньше всего Лёсик хотел бы выяснять отношения.

— Если будешь молчать, твоё время никогда не придёт! — победно заявила Любочка и во всю дорогу до дома ничего больше не сказала. А на все вопросы Лёсика то хмыкала, то фыркала.

Переводы вскоре были готовы, и они снова поехали в Москву. Кушнарёв остался доволен и, перелистывая переводы, даже прочитал вслух:

*...День занимался. Тревоги неизъяснимой полны,  
Ветви дубов шевелились, чая видений кромешных.  
На освящённых озёрах венчики лилий безгрешных  
Полнили ангелы светом, словно прекрасные сны...*

— Чудно! Чудно, — сказал он. И заключил с Лёсиком контракт на Леконта де Лилия.

В другой раз ему удалось пристроить в “Известия” статью о лесоводстве в Калининской области. А в Секретариате ему сказали, что, возможно, к ноябрьским праздникам получится устроить для него комнату в коммунальной квартире. Но пока не было комнаты, приходилось жить у тётки. И мало-помалу жизнь Лёсика превратилась в курсирование между Калининским и Москвой, а равно и брожение по московским улицам под руку с Любочкой под непрерывное её брюзжание. За это время Лёсик даже постарел и обносился. Когда-то некрасивый, но миловидный и чистенький юноша стал раздражительным и замызганным стариком. С Любочкой они стали ещё больше похожи: щуплые, обозлённые и уверенные, что мир у них в долгу. И если бы кому-то вздумалось переубедить их в отношении последнего, то оба чрезвычайно удивились бы. В придачу ко всему за короткое время оба изнеряшились и одевались куда как скверно. Приезжая в Москву, они отправлялись в центр и бродили по улицам под руку, оба в мятых, нечищенных пальто, в разбитых, грязных башмаках. На Любочке красовалась помятая зелёная шляпка, точно недавно вымокшая, украшенная пером, на которое неловко было смотреть, потому что при первом же взгляде на него казалось, что обладательница шляпки вот сейчас подобрала оброненное больным голубем

оперенье и воткнула в свой головной убор наиболее уцелевший экземпляр. Голову Лёсика также украшала шляпа, пока ещё державшая форму, зато покрытая таким слоем пыли и пуха, что можно было подумать, будто Лёсик нарочно валяет её перед тем, как выйти из дома.

Иногда они заворачивали к немногочисленным знакомым, не отказавшимся общаться с ними. И постепенно сложился маршрут следования по Москве. Сначала они бродили по редакциям, заглядывали в Секретариат справиться насчёт комнаты, заходили в “Серп” к Аркадию Абрамовичу. А потом шли на бульвары. С Тверского они сворачивали на Малую Бронную, с Гоголевского — в Сивцев Вражек, с Рождественского — в Кисельный переулок... Здесь, в этих старых московских улочках жили те самые немногочисленные знакомые, к которым время от времени заходили Машкины. К кому отужинать, а у кого перехватить денег или переночевать. Их пускали. Хозяева молча делились рублём и хлебом, а Машкины рассказывали, как трудно им ныне живётся. Потом Лёсик читал свои новые стихи, точно расплачиваясь ими за обеды и ужины, как бы намекая, что одолженные деньги возвращены не будут. Потому что не столько это и долг, сколько плата за прослушивание новых стихов опального поэта Машкина.

— Послушай, Машкин, — заявил пьяный Витька Ценкевич, случайно встреченный на Тверском бульваре в один из приездов Лёсика с Любочкой в столицу, — какого чёрта ты таскаешься в Москву и занимаешь у людей деньги?

— Милостивый государь! — взвизгнул было Лёсик, но Витька перебил его.

— Да брось ты! Чего разорался? От тебя уже вся Москва устала. Таскаетесь по домам, кланчите деньги. Не понимаете, что ли, что люди у детей своих отнимают, чтобы тебя, борова, кормить? Не делай вид, что не понимаешь. У детей кусок отнимаешь, что непонятного?

— Пойдём, Лёсик, — прошипела Любочка и одарила Ценкевича таким взглядом, что тот поёжился. — Ещё подлеца этого слушать. Да он врёт, как дышит...

Лёсик тоже хотел что-нибудь сказать. Что-нибудь страшное, убийственное, но ничего не придумал и послушно поплёлся за Любочкой.

— Эй, вы! — крикнул им вслед Ценкевич. — Не читали последнюю книгу Прохладного? Сказку. А то ведь он и вас там вывел. Он многих там из нашего брата изобразил. Вот и вы сподобились. Увековечил вас, благодарите!

— Не слушай его, — шептала Любочка, крепче сжимая локоть мужа. — Он всегда завидовал тебе.

Но вслед им неслоь:

— Парочка нищих мошенников. Кот и лиса. Вся Москва уже говорит, что это ты, Машкин, со своей благоверной.

Парочка нищих мошенников... Сначала они шли молча. Потом Лёсик сказал:

— Ну, и что делать?

— Надо найти эту сказку, — ответила Любочка.

И по её голосу Лёсик понял, как сильно она ненавидит сейчас Прохладного, Витеньку, всю Москву, а пожалуй, и всю Россию.

Они заглянули в ближайший книжный киоск и спросили последнюю книгу Николая Прохладного.

— Сказку, — пояснила Любочка улыбочивой продавщице приторным голосом.

— Пожалуйста! — улыбнулась девушка в киоске и тотчас протянула небольшую яркую книжку.

На бульваре супруги Машкины уселись на скамейку, где не было других отдыхающих, и Лёсик, открыв вкусно пахнущую, с красивыми картинками книгу, начал читать вслух. Они просидели до сумерек, не обращая внимания ни на множившихся прохожих, ни на шум, нараставший кругом, ни на рассевшуюся на их скамейке стайку молодых людей с какими-то тетрадками. Лёсик тихонько читал, а Любочка, прижавшись к нему, старалась не пропустить

ни слова. И не зря. Сказка оказалась недурна. И среди множественных её персонажей без труда узнавались знакомые литераторы и даже один театральный режиссёр, известный своими эскападами на сцене. Интереснее же всего было то, что Витенька не солгал в главном: в нищенствующих мошенниках, в оборванных коте и лисе узнавались супруги Машкины. Даже шляпка на лисе была точь-в-точь как на Любочке, которая, дослушав сказку до конца, заплакала.

— Нельзя этого так оставлять, — прохлопала наконец Любочка, перебивая уговоры Лёсика не плакать.

— Что же мы можем? — пробормотал Лёсик, тоже готовый заплакать и чувствующий себя так, словно его только что прилюдно отхлестали по щекам. Подумать только! Ведь сказка вышла два месяца назад. И всё это время, пока они ходили по Москве, вслед им смотрели знакомые обыватели. Смеялись над ним, над Любочкой, над тем, как они занимают деньги под чтение стихов.

— Не мы, а ты, — прервала Любочка потоки его фантазии голосом, в котором зазвенел металл. — Ты должен пойти и наказать Прохладного.

Лёсик беспомощно посмотрел на свою подругу, ощутив при этом прилив тоски такой силы, что сам испугался.

— Тебе не на чем с ним драться, — тонко заметила Любочка. — Но пощёчину можно дать всегда!

— Хорошо, — вздохнул Лёсик. — Я дам Прохладному пощёчину. А сейчас поедem домой. Я устал.

— Домой? — Любочка даже вскочила со скамьи. — В Калинин? Ну уж нет! Я на голодный желудок никуда не поеду. Мы идём ночевать к Терских. И никакие сказки меня не остановят. А завтра мы пойдём к Прохладному, и ты дашь ему пощёчину. — Она даже притопнула ножкой в разношенном башмаке.

— Хорошо, — чуть слышно ответил Лёсик, — сделаем, как ты хочешь. А я устал.

\* \* \*

Но на другой день пощёчина не состоялась. Поевшая и выспавшаяся Любочка согласилась, что торопиться не надо. Лучше всё как следует обдумать и подготовиться. Поэтому на другой день Машкины утром поехали в деревню. А спустя примерно неделю, подтянутые и принарядившиеся, нарочно заявились в Москву пораньше, чтобы навестить писателя Прохладного, служившего главным редактором хорошо известного Лёсику литературного журнала. Стихи Алексея Машкина несколько раз появлялись в издании, редактируемом Николаем Прохладным.

Редакция занимала всего две комнатки в старом, давно не ремонтировавшемся здании, опутанном сетью коридоров, как содержимое какого-нибудь сундука распустившейся бечёвкой. Но Лёсик прекрасно ориентировался в коридорах и без труда нашёл нужную дверь, за которой слышались негромкие голоса и приглушённый стук печатной машинки. Любочка следовала по пятам за мужем, намереваясь присутствовать и получить сатисфакцию от предполагаемой сцены. По совместно разработанному плану Лёсику предстояло ворваться в кабинет, где работает Прохладный, и, ошеломив внезапностью, нанести удар. В случае же, если с пощёчиной не заладится, план надлежало подправить. Для подобного исхода Лёсик и Любочка сошлись на плевке в лицо. Любочка настаивала, что плевков должен прийти в глаз — всё равно какой. Но Лёсик упорствовал, доказывая, что не сможет гарантировать такой меткости. Любочка даже немного обиделась на отказ, но потом была вынуждена согласиться, что без подготовки трудно послать плевков в такую маленькую цель, как глаз писателя Прохладного. А тренироваться Лёсик категорически отказывался, объясняя отказ нежеланием чувствовать себя глупо. Да и времени на тренировки не оставалось — Любочке хотелось завершить операцию как можно скорее.

И вот настал момент, когда они стояли перед обшарпанной ореховой дверью, за которой сидел их враг. Человек, ради чьей публичной казни они явились в столицу из калининской деревни. Лёсик коснулся кончиками пальцев орехового полотна и тут же отдернул руку. Он повернулся к Любочке, точно надеясь, что она скажет: “Уйдём отсюда”. Но Любочка молчала. Зато говорили её глаза. “Трусись?” — спросили они у Лёсика. Причём сами тут же ответили: “Да видно, что трусись. И трусись презренно”. Лёсик не смог спорить с этими глазами и толкнул дверь.

В кабинете помещались четыре стола: два слева от двери, один справа и один, за которым сидел сам Прохладный, напротив входа возле окон. Лица всех сотрудников при этом были обращены к центру комнаты. Все могли видеть друг друга и того, кто являлся в редакцию или покидал её стены.

Как только дверь с тихим стоном отворилась, говорившие смолкли и повернулись на этот стон. На пороге стоял Алексей Машкин, из-за его плеча выглядывала Любочка. Лёсик сразу же увидел того, кто был ему нужен, и затрепетал. Так что на остальных сотрудников даже не обратил внимания. Появление поэта Машкина было так неожиданно и странно, что никто не решался нарушить молчание, выжидая, что последует за этим таинственным появлением. Было слышно, как где-то рядом, в соседней комнате стучит “Ундервуд” — Лёсик, бывавший не раз в редакции, хорошо знал, что это именно “Ундервуд”.

На миг Лёсик застыл в дверях. Потом в несколько шагов пересёк комнату и, не видя никого, кроме Прохладного, остановился перед его столом. Тот, замерев, следил за Машкиным беспокойным взглядом. Возникший перед столом Лёсик был ненамного выше сидевшего с другой стороны главного редактора. Они всё так же молча смотрели друг на друга. Прохладному вдруг показалось, что в глазах *vis-a-vis* мелькнула нерешительность, а может быть, даже испуг. И Прохладный невольно ухмыльнулся. Но слабая эта ухмылка словно подтолкнула Лёсика. Он вздрогнул, перегнулся через стол и вытянутой дрожащей рукой не то ударил Прохладного по румяной полной щеке, не то потрепал эту щеку со словами:

— Мерзавец! Получи же за оскорбление моей жены!

Разыграв этот спектакль, он немедленно выскочил из кабинета. Любочка, всё это время находившаяся у него за спиной, выскочила следом. В типичные звонко процокали каблучки её замшевых лодочек, словно бы вторя “Ундервуду” за стеной.

Через пару минут после исчезновения Машкиных Прохладный провёл рукой по той самой щеке и сказал негромко:

— Кажется, это была пощёчина.

И кто-то так же негромко отозвался в комнате:

— Кажется, да.

\* \* \*

В следующем номере “Литературной газеты”, читаемой теперь Машкиными в деревенском клубе, Лёсик первым же делом наткнулся на свою фамилию.

*“Редакции нашей газеты стало известно, — говорилось в редакционном материале, — что поэт Алексей Машкин вновь отличился в привычном для себя скандальном амплуа. Совсем недавно писательская общественность разоблачила его как мелкого литературного воришку. Теперь же он раскрылся драчуном и дебоширом. На днях он явился в редакцию всем хорошо известного и уважаемого издания и ни с того ни с сего устроил отвратительную драку, напав на главного редактора. Мы должны посоветовать на пострадавшего за то, что он не пожелал поставить в известность широкую общественность относительно случившегося. Так что о нападении поэта Машкина мы узнали от других сотрудников этой редакции.*

*Между тем мы не просто хотели бы знать, как ведут себя и что поделывают наши писатели. Мы хотим и готовы бороться за искоренение буржуазных пережитков и воспитание классового сознания у советских литераторов. А замалчиванием проступков наших товарищей мы ничего не добьёмся.*

*Происшествие усугубляется ещё и тем, что главный редактор издания, подвергшийся нападению поэта Машкина, в настоящее время, как нам стало известно, работает над большим романом о гражданской войне. И уж не с этим ли обстоятельством связан визит Машкина в редакцию и нападение на крупного советского писателя? Надеемся, что со временем нам удастся разобраться и в этом...*

Что произошло дальше, доподлинно не известно. Началась какая-то суета, события замелькали, и однажды Алексей Машкин исчез. Любочка рассказывала потом, что в деревенском домике её тётки люди в форме произвели обыск и увезли Лёсика. Что будто бы вытряхнули даже ту самую перину, на которой спал болящий Алексей Машкин. А ещё говорили, что будто бы перед тем, как явиться в калининскую глушь, те самые люди в форме получили письмо с жалобой на неблагонадёжность Лёсика и на то, как он всем надоел, клянча деньги и заставляя слушать нелепые свои стихи. Но кто написал это письмо, что именно в нём написано и существовало ли оно вообще — об этом никто не мог рассказать.

Первое время от Лёсика приходили весточки. Но настолько невнятные, что понять из них хоть что-нибудь оказалось никому не под силу. Любочка, читая что-то о кофе с корицей, о золотых зубах и полосатых чулках, только злилась и говорила, что ненавидит Россию. А потом письма прекратились, и след Лёсика затерялся. Рассказывали разное, но разве можно было кому-нибудь верить? Могила Лёсика Машкина, чудака, мечтавшего о поэзии, так и осталась найденной.

А вот Любочка вернулась в Москву, посвятив остаток дней собиранию всего, что было написано её мужем, и утверждением поэта Машкина национальным гением России. И ведь добилась-таки своего. Прожила она долгую жизнь, оставив после себя несколько книг воспоминаний. Причём каждая новая книга с небольшими дополнениями воспроизводила предыдущую.

В книгах своих старая уже Любочка многое перепутала, многое исказила со злости. Но в основном перепела все старые погудки на новый лад и перелила всё, что только можно, из пустого в порожнее. Все, кого вспоминала Любочка, оказались мразями, идиотами и бездарностями. А в отношении нескольких человек, в частности писателя Николая Прохладного, Любочка заверила читателя, что это не люди. Книги Любови Леонидовны Машкиной были заявлены как воспоминания о гениальном поэте Алексее Венедиктовиче Машкине. Но Лёсика в книгах не оказалось. Вернее, торчал из нескольких щелей его длинный некрасивый нос, а больше ничего. И понять, каков же был этот человек, в чём заключались его слабости, а в чём сила, так никто и не смог.

Но пришло время, когда пустая книга Любови Леонидовны получила спрос и вошла в моду. Люди захотели узнать больше об Алексее Венедиктовиче и потянулись за книгой его жены. Но поскольку ничего Любовь Леонидовна не сказала, да, признаться, и не могла сказать, то и образ Алексея Машкина так и остался куцым и словно обглоданным. Не образ даже — так, длинный нос.